

7. Шамне Н.Л., Карякин А.В. Речевая агрессия как нарушение экологичности политического дискурса. *Вестник ВолГУ. Сер. 2. Языкознание*. 2011; 1 (13).
8. Шамне Н.Л., Лиховидова Е.П. Современные интернет-технологии в социально-культурной сфере / Н.Л. Шамне, Е.П. Лиховидова. *На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы современной филологии: межвузовский сборник статей*. Киров: Изд-во ВятГТУ, 2012: 109 – 115.
9. Дедова О.В. Лингвистическая концепция гипертекста: основные понятия и терминологическая парадигма. *Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология*. 2001; 4.
10. Масалова М.В. *Гипертекстуальность как имманентная текстовая характеристика*. Диссертация ... кандидата филологических наук. Ульяновск, 2003.
11. Лиховидова Е.П. *Авторские стратегии построения гипертекстового пространства англоязычных интернет-сайтов отелей*. Автореферат диссертации ... кандидата филологических наук. Волгоград, 2011.
12. Ильин И.В. *Потребление как дискурс: учебное пособие*. Санкт-Петербург: Интерсоцис, 2008.

References

1. Belyaeva N.V. *Gipertekst kak kognitivno-kommunikativnaya edinica: `eksperimental'noe issledovanie*. Dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Tver', 2010.
2. Il'ina I.A. *Problema izucheniya i vospriyatiya giperteksta v mul'timedijnoj srede Internet*. Dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Moskva, 2009.
3. Klochkova E.S. *Lingvopragmaticheskie osobennosti `elektronnogo giperteksta na nemeckom yazyke*. Avtoreferat dissertatsii ... kandidata filologicheskikh nauk. Samara, 2009.
4. Tupikova, A.M. Nekotorye osobennosti struktury giperteksta nemeckoyazychnoj reklamy tovarov dlya detej. *Vestnik KemGU*. 2013; 2 (54); T. 2.
5. Chizhikova S.N. *Funkcional'nye osobennosti lingvisticheskikh i paralingvisticheskikh fenomenov v kommunikativnom prostranstve giperteksta (na materiale gipertekstov po izobrazitel'nomu iskusstvu)*. Avtoreferat dissertatsii ... kandidata filologicheskikh nauk. Stavropol', 2012.
6. Kolokol'ceva T.N. *Intertekstual'nost' i gipertekstual'nost' v internet-kommunikacii. Intertekstual'nost' i figury interteksta v diskursah raznykh tipov: kollektivnaya monografiya*. Pod redakciej T.N. Kolokol'cevoj, V.P. Moskvina. Moskva: Flinta: Nauka, 2014.
7. Shamne N.L., Karyakin A.V. Rechevaya agressiya kak narushenie `ekologichnosti politicheskogo diskursa. *Vestnik VolGU. Ser. 2. Yazykoznanie*. 2011; 1 (13).
8. Shamne N.L., Lihovidova E.P. Sovremennye internet-tehnologii v social'no-kul'turnoj sfere / N.L. Shamne, E.P. Lihovidova. *Na peresechenii yazykov i kul'tur. Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii: mezhdvuzovskij sbornik statej*. Kirov: Izd-vo VyatGTU, 2012: 109 – 115.
9. Dedova O.V. Lingvisticheskaya koncepciya giperteksta: osnovnye ponyatiya i terminologicheskaya paradigma. *Vestnik Moskovskogo un-ta. Ser. 9. Filologiya*. 2001; 4.
10. Masalova M.V. *Gipertekstual'nost' kak immanentnaya tekstovaya harakteristika*. Dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Ul'yanovsk, 2003.
11. Lihovidova E.P. *Avtorskie strategii postroeniya gipertekstovogo prostranstva angloyazychnyh internet-sajtov otelej*. Avtoreferat dissertatsii ... kandidata filologicheskikh nauk. Volgograd, 2011.
12. Il'in I.V. *Potreblenie kak diskurs: uchebnoe posobie*. Sankt-Peterburg: Intersocis, 2008.

Статья поступила в редакцию 28.04.15

УДК 821. 161. 1. 09

Tereshkina D.B., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (branch in Veliky Novgorod, Russia), E-mail: terdb@mail.ru

A MAN FACINNG DEATH: MINEYNY CODE OF A. SOLZHENITSYN'S NOVEL "RAKOVYIY CORPUS". This article discusses the story by A. Solzhenitsyn "Rakoviy corpus" from the point of view of how "a mineyny code" is reflected in it. The code include such constants as humility, the similarity of neighbor and the imminence of death. Although not expressed explicitly, mineyny code of the novel is manifested at all levels of text: characters, themes, motifs and leitmotifs, as well as a general idea. The story of cancer patients turns into a kind of "chetya-mineya", in which the story of each person becomes a narrative of his pain and the preparation for death. In the understanding of the end of the life, the person comes to a reassessment of all past values and life. The category of similarity of neighbor, forgiveness, faith, mercy shall be taken by characters of the story are not in the form of Christian precepts, but in the form of pained and necessary eternal Verity of human existence.

Key words: mineyny code, humility, life, likeness, death, precept.

Д.Б. Терешкина, канд. филол. наук, доц. Российской академии народного хозяйства и государственной службы, г. Великий Новгород, E-mail: terdb@mail.ru

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ: МИНЕЙНЫЙ КОД ПОВЕСТИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА «РАКОВЫЙ КОРПУС»

В статье рассматривается повесть А. Солженицына «Раковый корпус» с точки зрения отражения в ней минейного кода с такими его константами, как смирение, подобие ближнему и предстояние смерти. Не будучи выраженным эксплицитно, минейный код повести явлен на всех уровнях текста: в героях, темах, мотивах и лейтмотивах, а также общей идее. Рассказ о больных раком превращается в своеобразную «четыо-минею», в которой история о каждом человеке становится повествованием о его мучениях и подготовке к смерти. В осмыслении конца жизненного пути человек приходит к переоценке всех прошлых ценностей и своей жизни. Категории любви к ближнему, прощения, веры, милосердия принимаются героями повести не в виде готовых христианских заповедей, а в форме выстраданной и необходимой истины человеческого существования.

Ключевые слова: минейный код, смирение, жизнь, подобие, смерть, заповедь.

Повесть «Раковый корпус» А. Солженицын писал в 1963 – 1967 гг. по личным впечатлениям от болезни и пребывания в больнице в 1955 г. В основу многих персонажей легли реальные люди, пациенты и врачи, с которыми писателю довелось встретиться во время тяжелейшего испытания заболевания раком, исцеления и возвращения к полноценной жизни. Сумев победить болезнь, А. Солженицын представил в повести историю своей победы и опыт других людей, находившихся рядом с ним в схожих обстоятельствах.

Рассказ о предстоянии смерти людей, собранных в одном корпусе и объединённых диагнозом, оказался, вопреки читательскому ожиданию, пронзительно жизнеутверждающим (при отсутствии отрицания смерти) и, вероятно, вопреки изначальному замыслу автора, глубоко религиозным по сути (хотя религиозность и составляет периферию интересов героев повести, в том числе главных – Павла Николаевича Русанова и Олега Костоедова, – и напрямую не прописывается автором). Та составляющая внутренней жизни человека, помещённого в чрезвычайные

обстоятельства, которая вынуждена отвечать на вопросы о теле и духе, неизбежно оказывалась сопряженной с христианскими идеалами, о которых на протяжении уже нескольких поколений люди старались забыть и которые оказались актуализированными в момент, когда новая, антирелигиозная, идеология оказывалась бессильной. При этом в повести нет ни одного упоминания ни о христианстве, ни о религии и вере вообще. Есть в повести любимые А. Солженицыным герои-праведники (безотказная и полная любви к людям санитарка Елизавета Анатольевна, бывшая политзаключенная, которую, как «свою», Костоготов признал сразу; мученик Сибгатов, покорно благодарящий людей за сочувствие и помощь к нему, умирающему; сам Костоготов, уходящий в жизнь из ракового корпуса как нищий и благодарный жизни путник). В качестве эксплицитно представленной главной христианской заповеди – заповеди любви – выступает спор об этой нравственной категории, изложенной Л.Н. Толстым в сказке «Чем люди живы», которую читает один из пациентов. Эту же заповедь, в другом контексте и с другим значением, бойко излагает больному Дёме девушка Ася, ещё не знающая своего будущего, которой через несколько дней, согласно поставленному диагнозу, удалят грудь, после чего заповедь любви для неё станет значить, судя по всему, совсем иное. Лишённые утешительного слова веры, которое всегда звучало в русских лазаретах и богадельнях из уст исповедующих и причащающих священников, насельники тринадцатого (ракового) корпуса судорожно ищут это слово в себе (и не находят, ибо бессилён человек в одиночку перед лицом смерти), во врачах, в близких и в тех, кто рядом, даже если они оказываются неприятными поначалу, как это было в случае с Павлом Николаевичем Русановым.

Далекая от религиозного дискурса в его явном присутствии в тексте (показательным примером могут стать слова Шубина, спорящего с Олегом Костогодовым о «христианском социализме»: «Христианский» – это слишком запрошено <...> именно для России <...> один только верный социализм есть: нравственный!» [1, с. 356]), повесть содержит мощный христианский интертекст, в котором одним из ведущих становится минейный код.

Лишённая идеи призрачной веры во всеобщее равенство, которая была полностью дискредитирована советской властью, в то же время далёкая от наивных представлений о возможности среди людей на земле безусловной любви, соборности и общности, повесть полна той христианской философии, которая была выстрадана самой жизнью и которая, на наш взгляд, отражает минейный код интертекста Священного Предания в русской словесности.

Этот код связан с концептуальным для русской культуры текстом «Четырёх-Миней» – житий, расположенных по дням года, датам памятей святых. Агиографические традиции в литературе, более очевидные и яркие, хорошо изучены. Минейный код представляет собой менее выраженный, но оттого не менее важный комплекс констант интертекстуального присутствия Предания русской церкви в словесности Нового времени. Этот код содержит в себе признаки, сопряжённые с агиографическим интертекстом, а также те, которые свойственны интертексту гипертекста, который представляют «Четырёх-Миней». Маркеры присутствия минейного кода различны в разных текстах. В повести «Раковый корпус» актуализированы наиболее важные из них.

Категория «смирение», одна из основополагающих в минейном коде и явленная как абсолютное, полное и радостное приятие человеком воли Божьей, в «Раковом корпусе» представлена в крайней ситуации, когда человек встречается с недугом, воспринимаемым как приговор. Рак для каждого становится явлением смерти, независимо от того, каков будет исход принятых мер по борьбе за существование (который всегда неизвестен). К этой «игре в рулетку» со смертью не готов встретиться ни один из героев повести. Первые минуты, часы и дни после объявления страшного диагноза они ведут себя одинаково: испытывают величайшее потрясение, ужас, не веря до последнего в правильность вердикта врачей (неслучайно первая глава называется «Вообще не рак»). Человеку в состоянии аффекта отказывается даже здравый смысл: «Конечно, Русанов всегда знал, что поскольку все люди смертны, когда-нибудь должен сдать дела и он. Но – когда-нибудь, но не сейчас же! К о г д а – н и б у д ь не страшно умереть – страшно умереть вот сейчас» (202). На поверку же оказывается, что здравый смысл во всём, что касается смерти, сводится лишь к одной простой истине: все люди смертны. Но этой «простонародной» истине Русанов противопоставлял свои привычные правила и законы, с помощью которых он всегда жил и которые спасали его во всех просчитываемых

ситуациях. Со смертью просчитать оказалось невозможным – и только потому, что Русанов, не причитая себя к «другим», т.е. народу, лишился народной традиции быть готовым к смерти в любую минуту. Привычка не думать о смерти обернулась величайшим потрясением в момент осознания приближения смерти. «Белая равнодушная смерть <...> подходила к нему осторожно, не шумя, в шлёпанцах, – а Русанов, застигнутый этой подкрадкой смерти, не только бороться с нею не мог, а вообще ничего о ней не мог ни подумать, ни решить, ни высказать. Она пришла незаконно, и не было правила, не было инструкции, которая защищала бы Павла Николаевича. И жалко ему было себя» (202).

Примечательно, что все страхи людей обращены не собственно туда, за черту смерти (чего, казалось бы, и надо было бояться), а в эту жизнь, земную, которую они не хотят покидать из-за естественной сильнейшей привязанности к ней, какова бы эта жизнь ни была: благополучной и приятной, как у Русанова, или полной страданий и лишений, как у Костоготова. Главное и самое безысходное чувство при осознании своей участи – не ожидание предстоящих (и уже существующих) страданий, не представление своего конца и размышление о судьбе там, куда никто не заглядывал и во что не все из пациентов тринадцатого корпуса верят, а одиночество. Болезнь-приговор становится стеной, которая полностью, навсегда и бесповоротно отделяет приговорённого от других, даже если эти другие (близкие, как у Русанова, или просто все живущие люди, как у одинокого Костоготова) продолжают быть рядом, заботиться и делать всё возможное, в том числе врачи, постепенно делающиеся в глазах больных из палачей чуть ли не в проводников Божьей воли и судьбы.

Смирение с собственной участью приходит к героям мучительно, постепенно, и вызвано оно лишь тем, что человек не может жить долго в состоянии шока. Павел Николаевич, поначалу ошарашенный убожеством ракового корпуса и его пациентов, не сумевший подключить все свои связи для быстрее перевода в другую клинику («не меньше болезни улетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях» (3)), постепенно примиряется и со своей койкой, и с шумом, разговорами вокруг, и с соседями по палате, с удивлением обнаружив, что даже внешне они не омерзительны («у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди» (14)) и что сам он, не будучи лучше других, «в несколько часов <...> потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее – и стал семьёю десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра» (11).

Именно смирением объясняется желание человека жить даже тогда, когда эта жизнь становится страданием. Так смиряется тихий татарин Сибгатов, у которого рак разъедает крестец, превращающийся в кисель, отчего Сибгатов не может перебраться и только по ночам, стесняясь смрада от своей спины, сидит в тазике, справляя нужду. «Но даже и за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казённой еды да игры в домино, – даже за эту жизнь с зияющей спиной на каждом обходе светились благодарностью его изболелые глаза» (363 – 364). Смиряется – но по-другому – Костоготов, решающий уйти из ракового корпуса, чтобы последние отведённые ему месяцы прожить на родине полноценным (хотя бы отчасти) человеком, отказавшись от гормонального лечения, которое превратило бы его в бесполое существо. «Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью – и всё. Стать ходячей схемой. Такая цена – не слишком ли заломлена? Не насмешка ли она? Платить ли?» (243). Расставаясь с жизнью, герой понимает, что жизнь, за которую так цепляются больные, не сводится к телу как сумме больных или здоровых органов. Это понимает и Дёма, мужественно принимающий по сути умирание «по частям» – даже оно становится приемлемым для стойкого духом человека. Лишенный ноги и, как это знают врачи, с риском распространения метастаз в пах и далее, строит он свои нехитрые планы на будущее, смиренно принимая мысль о нищенской инвалидной пенсии, на которую ему придётся жить («на хлеб будет, на сахар нет»), надеясь закончить университет и работать, где сможет («Мужчина, все обдумал Дёма. Топила, топила ему опухоль жизнь, а он вырливал на своё» (318)). Величайшим смирением объясняется титанический труд врачей, день ото дня сдающих позиции в борьбе с раком и при этом не отступающих, счастливым считающих хотя бы малую победу над болезнью и смертью. Ощущая в случае поражения профессиональное «бессилие»

от «несовершенства методов» и испытывая сердцем «жалость, самую обыкновенную жалость», врачи до последней боролись, как верные присяге солдаты: «Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному рассуждению, чтоб отказаться даже от простого повторения ходов с ничтожной надеждой, что ошибётся всё-таки смерть, а не врач» (50). И говорили убеждённо больным, сами проникаясь верой в свои убеждения: «И ещё обязательное условие: переносить лечение не только с верой, но и с радостью! С радостью! Вот только тогда вы вылечитесь!» (68). Приоритет Духа над материей яснее всего осознавали те, кто с этой материей каждый день имел дело.

Смирение, т.е. способность быть «с миром», неизбежно ведёт к актуализации ещё одного нравственного закона – любви к ближнему. Эта константа человеческого общежития явлена в повести не как готовая христианская заповедь, а как выстраданная человеческими мучениями осознанная необходимость. Пришедший в палату с чувством брезгливого отчуждения от всех, там уже находившихся («Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними» (9)), Русанов был вынужден принять их – сначала как тяжёлую повинность на время («Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных» (10)), а затем как признание права жить другим. Приятие другого происходит у Русанова, как и у многих больных в раковом корпусе, не по осознанному религиозному закону, а из-за бессилия отвоевать у смерти хотя бы одного себя: «Но теперь вместо того, чтобы ужаснуться, в какой вертеп он здесь попал, среди кого лежал, Русанов поддавался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерату; пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут – только б и Павлу Николаевичу остаться в живых» (213)). Хорошо устроившись в благоволящей им жизни, «Русановы любили народ – свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они всё больше терпеть не могли – населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да ещё чего-то требующего себе населения» (160). А теперь пришлось принять это «население» в его многовариантности судеб и болезней, ибо таким же одним из них был сам Павел Николаевич.

Приятие ближнего давалось нелегко не только Русанову. Через отчуждение и откровенную враждебность к собратьям по несчастью пришлось пройти всем – и Вадиму, и Костоглотову, и прочим, за исключением тихого Сибгатова и юного Дёмы, – и всё же не достичь любви и взаимопонимания со всеми, да и не стремиться к этому. Стоя на пороге смерти и острее всего осознавая одиночество, обречённые понимали, что они уже находятся на той прямой, на которой у каждого свой путь. Конец един для всех, но у каждого своя дорога к этому концу. В этом, пожалуй, наиболее отчётливо проявляется минейный код повести. Не общность, не соборность, не единая радость любви и приятия (что было бы актуально в других условиях и с другими героями), а индивидуальное и осознанное движение к единому исходу рядом с теми, кто подобен тебе. Этот принцип подобия (или, в агиографии, *imitatio*) в минейном коде приобретает особое звучание. Равно как в житии святой, уподобившийся своему небесному образцу, в одиночестве среди людей и лишь в соединении с Богом стремится к Царствию Небесному, так и простой смертный хотя бы часть своего пути, в страданиях и внутреннем осмыслении разъединения духа и тела, должен пройти свой индивидуальный крестный путь.

Идея эта, не представленная в повести эксплицитно, реализуется в доступных героям средствах. В речи Вадима, подбадривающего Дёму перед операцией по ампутации ноги («– Ну что ж, не ты первый. Выносят другие – и ты вынесешь. – В этом, как во всём, он был справедлив и ровен: он и себе утешения не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было что-то мягкое, религиозное» (245)). В сокрушённом слове повествователя, обратившего свой взор на умирающего больного, мимо которого, сунув ему кислородную подушку для последних вздохов, пробегает Костоглотов с медсестрой Зоей, спеша насладиться последними утехами плотского удовольствия («Может быть, именно сегодня он умирал – брат Олега, ближний Олега, покинутый, голодный на сочувствие. Может быть, подсев к его кровати и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его последние часы» (201-202)). В неожиданном прозрении Русанова, который в неизвестном ему больном увидел подобие самому себе («Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в расстёгнутом,

до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нём» (4)). В надежде Костоглотова найти после ухода из больницы кого-нибудь, кто будет с ним рядом хотя бы самое короткое время («Появляется взрывом один человек в жизни другого» (424)). Наконец, в осознании Русановым полной бесполезности связей, знакомств, положения перед лицом смерти, а, значит, надежды, что остаётся только одно – внимание к нему просто как к человеку, имеющему право на помощь и сострадание. Внимание к ближнему.

Именно эту мысль так горячо отстаивает в споре с Костогловым неприметный поначалу Шулубин, сам, через унижения и сделки с совестью, пришедший к пониманию истинно важного. «Так вот что такое нравственный социализм: не к счастью устремить людей, потому что это тоже идол рынка – «счастье!» – а ко взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это – высшее, что доступно людям!» (357). И, словно подтверждая эти слова, кричит перед ужином смуглявый Прошка: «Вечерю несут, хлопцы!». Убогий больничный ужин, состоящий из манной бабки с жёлтым соусом в изъеденной алюминиевой посуде, становится совместной трапезой, случайно-пророчески названной Прошкой вечерей. Предстояние смерти было не только одному из них на этой вечере. Оно было для всех.

Индивидуальная встреча со смертью становится главным тематическим лейтмотивом минейного кода повести. Осмысление жизни в предстоянии смерти проходит каждый герой. Костоглотов с жаром говорит о необходимости обучения привычке думать о смерти «хотя бы иногда. Это полезно. А то ведь, что мы всю жизнь твердим человеку? – ты член коллектива! ты член коллектива! Но это – пока он жив. А когда придёт час умирать – мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы! – грубо совал он палец в сторону Русанова. – Ну-ка скажите, чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умереть!! А о чём больше всего боитесь говорить? О смерти!» (116). О полном, безысходном одиночестве постоянно думает Русанов («Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира – всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по т о т о р о н у опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом <...> всё это осталось по ту сторону опухоли. А по эту – Павел Николаевич Русанов. Один» (15-16)).

Безнадёжно одиноким оказывается всегда деятельный Вадим, более всего сокрушавшийся о том, что за свою двадцатилетнюю жизнь он не успел сделать всё полезное, что он задумал осуществить для людей («И одиночество Вадима пульсировало, трепыхалось не оттого, что не было близ него мамы или Гали, никто не навещал, а оттого, что не знали ни окружающие, ни лечащие, ни держащие в руках спасение, насколько было ему важнее выжить, чем всем другим!» (309)). Узнав о раковом приговоре, Вадим решил за последние отведённые ему месяцы успеть сделать важное открытие в проблеме залегания полиметаллических руд – и отступил, обессиленный, превратившийся в «иконного отрока», перед которым, в отчаянии от собственного бессилия, стояла врач Вера Гангарт, не сумевшая утешить его, «человека интеллекта», который должен был найти формулу, как жить по соседству со смертью. «Смерть как внезапный и новый фактор своей жизни он должен был проанализировать. И, сделав анализ, заметил, что, кажется, уже начинает привыкать к ней, а то даже и усваивать» (206-207). Принявший мысль о смерти рассудочно («кому-то надо умирать и молодым. Зато умерший молодым остается в памяти людей навсегда молодым. Зато вспыхнувший перед смертью остается сиять вечно» (207)), Вадим приходит к парадоксальному для себя открытию: «таланту легче понять и принять смерть, чем бездарности. <...> Бездарности обязательно подавая долгую жизнь. <...> Так, купив свою раннюю смерть, он надеялся умереть успокоенным» (207). Это был честный и, главное, свой путь к смерти.

Свой путь к смерти прошёл и Павел Николаевич Русанов. Привыкший вершить судьбы других, в своём отравленном лекарством сне герой видит Верховный Суд, через который ему приходится пройти как через испытание. Не допуская в своей благополучной жизни мысли о Страшном Суде, Русанов проходит «репетицию» – и только благодаря страданиям начинает думать о смерти и жизни по-иному. Русанов в повести не умирает.

Примечательно, что не умирают почти все другие. «Лучевые» и «операционные», безнадежные и выписывающиеся «с улучшением» или «без улучшения», т.е. отпущенные домой умирать, – все они остаются «живыми» не только потому, что волею автора их смерть выведена за пределы повествования. Главное – потому, что, мысленно перейдя границу смерти и приняв её, эти люди победили саму смерть. Признание смерти как части жизни делает её принадлежностью этой жизни. Такова народная мудрость, лишённая видимого христианского контекста, которую, пережив на собственной шкуре, «прозаически» разъясняет Олег Костоготов медсестре Зое: «<...> человек может переступить черту смерти, ещё когда тело его не умерло. Ещё что-то там в тебе кровообращается или пищеварится – а ты уже, психологически, прошёл всю подготовку к смерти. И пережил саму смерть. Все, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, бесстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты-таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто всё и все безразлично, ничего не порываешься испривить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное» (28). Но, отрицая христианский подтекст своего открытия, Костоготов интуитивно вовлекает себя в него, отнюдь не случайно вспомнив евангельские слова о гнавших и обижавших и добившись от Кадмина ответа на вопрос о происхождении поговорки «Мягкое слово кость ломит». Николай Иванович Кадмин, один из четы Кадминых, таких же ссыльных, как сам Костоготов, и единственных близких его

друзей, рассказал ему в письме о рукописной повести XV в. о Китоврасе, читающейся в Толковой Палее. Китоврас (Кентавр), ломавший всё на своем пути, пощадил убогий дом умолившей его вдовы, при этом пострадал сам, сломав ребро. «И вот размышлял теперь Олег: этот Китоврас и эти писцы Пятнадцатого века – насколько ж они люди были, а мы перед ними – волки. Кто это теперь даст ребро себе сломать в ответ на мягкое слово?...» (334). И, оставивший когда-то умирать в одиночестве тяжело больного, чтобы насладиться остатками жизни, Олег Костоготов принимает последний вздох Шулубина Алексея Филиппыча, на смертном одре повторявшего: «Весь не умру <...> Не весь умру». «И тут дошло до Олега, что не бредил Шулубин, и даже узнал его, и напоминал о последнем разговоре перед операцией. Тогда он сказал: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне – это не всё я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколок Мирowego Духа. Вы так не чувствуете?»» (389).

Чувствовал Олег Костоготов, как никто другой, что «во мне не всё – я» – единственное, что даёт основания не только примириться со смертью на земле, но и надеяться на жизнь человека там, где смерти нет в принципе. «Со святыми упокой, Христе, Души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная» [2]. Минейный код существует как закон, на действие которого человек, не ведая того, уповает в самые важные моменты жизни. И прежде всего – перед лицом смерти, которая становится мерилем действия этого кода в пути к ней каждого из живущих и надеющихся на жизнь вечную.

Библиографический список

1. Солженицын А.И. *Раковый корпус*. Москва: Современник, 1991. (Текст цитируется по этому изданию. Ссылка на страницы указываются в тексте в круглых скобках).
2. *Последование заупокойной литии*, Кондак, глас 8.

References

1. Solzhenitsyn A.I. *Rakovyj korpus*. Moskva: Sovremennik, 1991. (Tekst citiruet'sya po `etomu izdaniyu. Ssylka na stranicy ukazyvayutsya v tekste v kruglyh skobkah).
2. *Posledovanie zaupokoynoj litii*, Kondak, glas 8.

Статья поступила в редакцию 21.04.15

УДК 821. 161. 1. 09

Tereshkina D.B., *Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (branch in Veliky Novgorod, Russia), E-mail: terdb@mail.ru*

“CHETYI-MINEY” IN THE DRAMA OF A. K. TOLSTOY “THE DEATH OF IVAN THE TERRIBLE”. Chetyi-Miney», the annual range of hagiographic texts, is a conceptual phenomenon in Russian literature. The tradition of the text in the literature of the New time is not specifically studied. However, it is wide and varied, from direct quotes to allusions, details, images and symbols of the text. The article analyzes the direct reference to the “Chetyi-Miney” by A. K. Tolstoy. The monk-hermit mentions examples of a true Holy life, described in the lives of saints. He is intended to Ivan the Terrible for repentance, but forgiveness of sins is not available for him: his sins are too strong before God and men. The tsar-despot dies in sin, just as he kept throughout his life. Anti-life becomes the key to eternal damnation, a source of torment. The author shows that this truth is served by A. K. Tolstoy not in the form of ready-made formulas, but it is postulated as a law of human life by artistic means.

Key words: Chetyi-Miney, a sample of life, tyranny, sin, retribution, artistic detail.

Д.Б. Терешкина, канд. филол. наук, доц. Российской академии народного хозяйства и государственной службы, г. Великий Новгород, E-mail: terdb@mail.ru

“ЧЕТЬИ-МИНЕИ” В ДРАМЕ А.К. ТОЛСТОГО “СМЕРТЬ ИОАННА ГРОЗНОГО”

«Четьи-Минеи», годовой круг агиографических текстов, является концептуальным явлением в русской словесности. Традиция памятника в литературе Нового времени специально не изучалась; при этом она является широкой и многообразной – от прямых цитат до аллюзий, деталей, образов и символов минейного текста. В статье анализируется прямая отсылка А.К. Толстого к «Четьим-Минеям». Образцы истинно святой жизни, описанные в круге житий святых, упоминает монах-отшельник. Он призван к Ивану Грозному для покаяния, однако прощение грехов оказывается царю не доступным: слишком сильны его грехи перед Богом и людьми. Царь-тиран умирает во грехе – так же, как он вел всю свою жизнь. Анти-житие становится залогом вечного проклятия, источником мучений. Автор статьи показывает, что эта истина подается А.К. Толстым не в виде готовой формулы, а художественными средствами постулируется как закон человеческой жизни.

Ключевые слова: Четьи-Минеи, образец жизни, тирания, грех, воздаяние, художественная деталь.

«Четьи-Минеи» упоминаются А.К. Толстым в драме «Смерть Иоанна Грозного» как деталь художественного текста, однако деталь эта является очень значимой.

В драме «Смерть Иоанна Грозного» упоминание Четых-Миней находится в одном из ключевых эпизодов: разговоре Ивана IV с монахом-затворником перед смертью царя, которая была